

Моєму отцю

Хочу, чтобы ты пришла,
Чтобы в дверь постучала,
Сказала: “Привет, это я,
Угадай, что я принесла”.
И принесла мне себя.

БОРИС ВИАН
*Колыбельная для медведей,
которых нет дома*

Пролог

У нас дома было два предмета, которые так и притягивали меня. Оба — из Лотарингии. Первый — деревянный барометр, на его корпусе вырезана пара аистов в огромном гнезде, а под ним — типичная для востока Франции деревушка. До конца восьмидесятых годов отец узнавал, какая будет погода, постукивая по его стеклянному окошку. У меня до сих пор в ушах этот звук. Это было последнее, что я слышал за день, перед тем как сказать всем “спокойной ночи”. Папа барабанил по барометру, даже когда сборная Франции проигрывала немцам. Звук ногтей по стеклу, а по-

том: “О! Завтра ясно!” или “Э-э-эх! Дело плохо! Завтра будет дождь!”

Я был еще слишком мал, чтобы разобрать надписи на шкале, и потому думал, что мой папа — синоптик-волшебник.

Вторым предметом была не очень большая деревянная шкатулка, стоявшая в кухне на видном месте. С наклеенной этикеткой: “На память”. Папа доставал из этой шкатулки всякие штучки, которые в детстве казались мне волшебными. Шкатулка напоминала сумку Мэри Поппинс, там лежали бобины с 8-миллиметровой киноплёнкой, сине-желтый кораблик, диапозитивы, сохранившиеся со времен войны, когда папа был младше, чем мы сейчас.

И еще альбом с фотографиями. Его мама Элиза. Его бабушка. Дядя Эмиль, тетя Луиза. И он сам в сорок пятом году, гордо позирующий на велосипеде Эмиля, рядом со своим отцом, у которого на груди красуется Боевой крест и орден Почетного легиона.

В самом конце альбома между страницами был вложен конверт. В нем два письма его матери. Иногда папа вынимал их. И долго сидел молча, как будто

затерявшись в лабиринте прошлого. А возвращался оттуда, только когда вкладывал письма обратно.

Однажды вечером я решился спросить, что говорилось в этих письмах. И папа прочитал одно, написанное за несколько дней до смерти его мамы. Я был поражен. Письмо и тронуло, и ужаснуло меня. Из него было ясно, что незадолго до трагической гибели, которой, кто знает, можно было избежать, ее всерьез заботила болезнь Мену́. Так звали в детстве моего отца.

А еще там была пишущая машинка, черная блестящая “мерседес-прима” на деревянной подставке.

Папа много ездил по миру и отовсюду привозил замечательные истории, которые выразительно, со вкусом рассказывал нам.

Я хотел быть таким, как он, даже когда он на целый месяц попал в плен в Саудовской Аравии. Он бывал в Анкоридже на Аляске, ссорился с японцами, привозил нам то австралийца, который всегда улыбался, даже за едой, то неженку корсиканца, который падал чаще, чем Пьер Ришар в “Невезучих”, то израильтянина, которого звали, как горный перевал, — Изоар, то англичанку с прической, похожей на чипс.

МАТИАС МАЛЬЗЬЁ

Но самое грандиозное его приключение началось с того, как он пересекал демаркационную линию¹ между свободной и оккупированной зоной, спрятавшись в телеге с сеном.

1 Герой романа пересекает демаркационную линию в департаменте Юра, потом его перевозят в ту часть провинции Лотарингия, которая в 1940 году была аннексирована Германией и объявлена частью Третьего рейха. Лотарингия была освобождена в декабре 1944 года. *(Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, — прим. перев.)*

*Монпелье, Помпиньян,
вилла “Иветта”*

4 июня 1944

Сегодня ночью ты умерла. И все-таки наступил новый день. Мирей его не увидела, а я никогда не увижу Мирей.

У папы даже не было времени выплакаться. Пришлось наскоро собирать два чемодана и готовить два гроба. Сложенное белье — его сложила ты — пахнет свежей стиркой. Запах-призрак. Лестница помнит твои шаги. Ступени стонут.

А я нет. Я как папа. Он закрывает оба чемодана, заколачивает оба гроба, нахмутив брови. Глаза смотрят в никуда, но руки работают быстро и ловко. Я тоже смотрю в никуда и не вижу там ничего.

“Бедняжка Мену, ты останешься без мамы”.

Это последнее, что ты сказала мне, лежа в постели. Я заплакал и не мог остановиться. Но все-таки потом остановился. И с сегодняшнего дня решил, что больше никогда не буду плакать.

Самые тяжелые чемоданы невидимы. В папином свернулись клубком два призрака: любимой жены, его Лизетты, как он тебя называл, и почти родившейся дочки, в моем — мамы и почти родившейся сестры.

Папа завязывает мне галстук, как новоиспеченному взрослому. Делает это старательно, как всегда, но только очень долго. Глаза и смотрят и не смотрят на меня, веки мигают. “Моргают! — сказала бы ты мне. — Глаза не мигают, Мену, а моргают”. И улыбнулась бы.

— Понимаешь, сейчас я никак не могу заниматься тобой, но мы расстаемся не навек, — говорит папа.

Мне бы хотелось знать, сколько продлится этот *ненавек*, но я молчу.

— Мой долг — вернуться в строй. Ты ведь знаешь?

Знаю, еще как знаю. Вот и киваю в ответ.

— Ты поедешь к бабушке, для этого придется перебраться через демаркационную линию. Это такая новая граница, французам запрещается ее пересекать. У мамы есть двоюродная сестра Жанна, ее земля лежит по обе стороны этой запретной линии, она переправит тебя на телеге. Тебе придется спрятаться в сено. Так ты попадешь в оккупированную зону. И что бы ни случилось, ты должен сидеть тихо и молчать. Ясно?

— Да-да.

— У бабушки тебе будет хорошо, она очень добрая. Там живут еще дядя Эмиль, большой чудак, и тетя Луиза, она немножко... ну, сам увидишь.

Папа заново перевязывает галстучный узел. Лучший галстучный узел всех времен и народов. Я стою не дыша.

— Вот... а это отдашь бабушке. — Он кладет в мой чемодан небольшую деревянную шкатулку. — Она принадлежала твоей маме... и была ей очень дорога. Вручаю ее тебе. Как только приедешь, сразу отдай ее бабушке и, главное, ни в коем случае не открывай. Понял, сынок?

Я снова киваю, чтобы показать, какой я понят-

МАТИАС МАЛЬЗЬЁ

ливый. А на самом деле у меня разрывается сердце и пылает голова.

— Мену? — переспрашивает папа, глядя на меня строго-престрого.

— Да-да, — повторяю я, подавив просившиеся наружу вопросы.